

С писателем Андреем Битовым беседует Виталий Амурский

— Андрей, вас связывала с Иосифом Бродским давняя дружба, корни которой уходят в ленинградские (правильнее: питерские) годы. Кем он был для вас?

— Вы знаете, он... продолжает быть. Я не хочу приписывать себя к его друзьям, сейчас их будет очень много. Мы просто очень старинные знакомые с какой-то невысказанной проекцией дружбы: тридцать лет — это все же срок.

Мы жили в одной деревне. Я на Невском, он неподалеку. Выйти на Невский и встретить там Иосифа было нормальное деревенское явление. Так же, как он, я “Близнец”. Я старше. Точнее, я был старше его на три года и младше на три дня. В конце пятидесятых такой разрыв был очень существенным.

— А какие встречи сохранились у вас в памяти?

— Ну, например, выхожу на Невский вместе с Ридом Грачевым. Иду купить пластинку с записью Глена Гульда “Трехголосные инвенции” (Рид меня просвещал насчет музыки). На обратном пути, держа пластинку в руке, на углу улицы И.Бродского и Невского проспекта встречаю Бродского. “Куда идете? Что купили?” Я говорю: “Трехголосные инвенции”. Он: “Трехголосные”. Думаю, ах какой знаток! (Кстати, потом в комментарии к “Пушкинскому дому” это вошло, что улица, где гостиница “Европейская”, была переименована в улицу И.Бродского, не иначе, как в честь рождения поэта, так что теперь, мол, переименовывать не придется). Переименовали все же, успели! Теперь улицы И.Бродского нет, потому что она воспринималась бы только в одном смысле).

Вот другой эпизод.

Провожу бессонную ночь. В издательстве “Советский писатель”, в доме Мюра и Мерилиза, напротив Казанского собора, вовремя успеваю сдать “Пушкинский дом” по договору, чтобы с меня не сняли аванс. Датируется легко: 1 сентября 1970 года. Выхожу оттуда бессонный, думаю, где бы выпить? Первый, кто встречается, — Бродский: “Как дела?” — “Как дела?”...

— А ты что тут делаешь?

— Вот принес роман.

— Как называется?

— “Пушкинский дом”.

— Неплохое название, а я сегодня открытку от Набокова получил.

— Ну, и что он пишет?

— Пишет, что поэма (кажется, “Горбунов и Горчаков”) написана редким размером в русской поэзии.

...Вот мелочь, казалось бы, а — запомнилось.

Или такое.

Встречаю я его опять же на Невском, говорю: “Ты вот мне подкажи. Я не поэт, совсем этого не

умею делать, но я пишу такой фальшивый перевод с английского, у меня герой поэт, мне нужно что-то типа подстрочника накропать... Зайдем, кофе выпьем, я тебе прочитаю”.

Ну, пьем кофе у Инги Петкевич. Я вынимаю стишок, который называется “Смерть невесты”. Иосиф слушает и говорит: “Знаешь, как-то голо... нужна деталь. Вот, например...” — и достает из нагрудного кармашка в шесть или восемь раз сложенный задрипанный листок: “Я только что написал:

Бобо мертва, но шапки недолой.

Чем объяснить, что утешаться нечем.

Мы не проколем бабочку иглой Адмиралтейства — только изувечим”.

Это было спонтанно и как раз абсолютно совпало с темой моего стихотворения, только написано было гениально — в отличие от моего.

Или, например, ноябрь, 1962 год. Я приехал из экспедиции, и употребил ночь (на Аптекарском проспекте еще тогда) на написание рассказа “Пенелопа”. Обычно я могу писать только трезвый, но награждаю себя бутылкой. Ставлю ее перед мысленным взором и говорю себе: “Вот кончишь — выпьешь”. Вот в таком счастливо-бессонном состоянии, утром, еще до открытия магазина, иду и чувствую: что-то у меня получилось. Навстречу Эра Найман с Иосифом Бродским.

— Ты что такой?

— Да вот только что рассказ закончил.

— Зайдем ко мне, — предлагает Эра, — прочитаешь. Так сказать, первое исполнение по горячему тексту.

Читаю я им “Пенелопу”. Иосиф затем говорит: “Кажется, тут что-то с русским языком не то...”

Прошло какое-то время. Он только вернулся из ссылки — раздается звонок: “Ты знаешь, я вот сейчас перечитал тот рассказ (он вышел в альманахе “Молодой Ленинград”), я был неправ. Все прекрасно с русским языком”. “Ну, я-то в этом не сомневался”, — отвечал я ему, на чем разговор и был закончен. Я к тому времени и думать забыл, а он вспомнил. Тогда я этого не оценил, теперь меня это трогает.

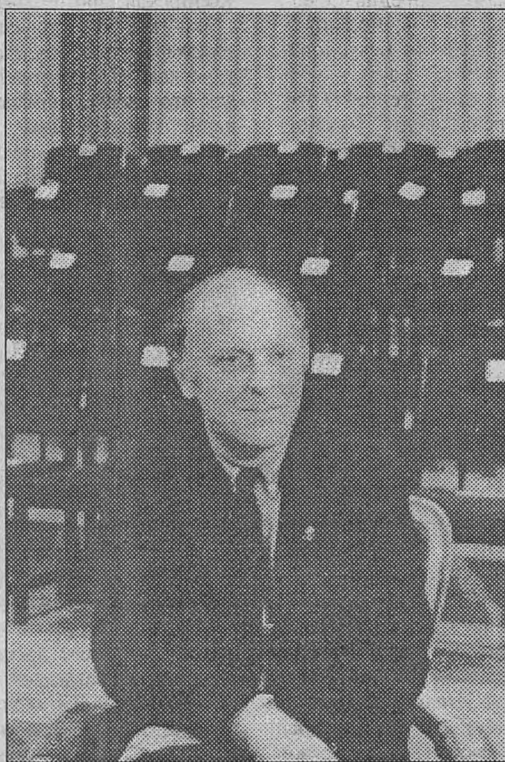
Опять же в таком эпизоде нет ничего особенного. Назвать это дружбой, этот длинный пунктир с какой-то температурой?.. Я понял, кто такой Бродский для себя толь-

ко в 1971 году. Нет, позже! Это случилось, когда его уже проводили в эмиграцию.

Ведь существование такого поэта — игла в сердце. Вот эту иглу в сердце я получил только после его отъезда, году в 1975-м, может быть... Помню стихотворение, на

“доходил”. Я не уверен, что это было равномерно, но как-то, по-видимому, мы оба чувствовали некоторый параллелизм, хотя бы дружб и любовью. После его смерти мне не хватало опоры.

— Андрей, в основном эпизоды, о которых вы вспомнили, относятся к



Этот снимок был сделан 10 декабря 1987 года в Концертном доме Стокгольма, за несколько часов до официальной церемонии вручения Нобелевских премий. Вместе с другими лауреатами Иосиф Бродский был приглашен на сцену, чтобы предварительно ознакомиться с отведенным ему местом, отрепетировать каждый жест принятия из рук короля Швеции Карла Шестнадцатого Густава Нобелевской медали и диплома (монарх был одним из организаторов торжества).

Будучи среди немногих журналистов на этом необыкновенном “спектакле”, я обратил внимание на то, что в какие-то моменты поэт словно погружался в себя, не слушал то, что говорилось распорядителями. Может быть, впрочем, это только мне казалось...

Немного растерянный, задумчивый, какой-то душевно-просветленный — таким остался он в моей памяти в тот исключительный день.

Фотография публикуется впервые.

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

котором я провалился в эту яму. Это был “Разговор с небожителем о поэзии”, и тогда мне стало все ясно. То есть полипроводимость, сверхпроводимость большой поэзии возникла, и уже в любом углу текста я найду Бродского.

Позднее я имел возможность с ним это обсудить. Говорю: “Знаешь, как-то поздно ты до меня дошел...” Может быть, и я до него

тому времени, когда Бродский жил на родине. Вероятно, и встречи на Западе память тоже сберегла?

— В этом году у меня много юбилеев. Сорок лет, как пишу, и десять лет с тех пор, как стал выездным. В 1987 году оказался впервые в Америке, в Вашингтоне: мировая конференция, мировая литература, русская панель... Там были Синяевский, Бродский и мы с Чухонцевым. Впервые “выездная/невыездная” литература сидела рядом, представляла русский опыт. Потом это стало общим местом.

Да, помню там — коктейль, все очень богато, как в кино из великосветской жизни. Вдруг входят Бродский, которого я не видел пятнадцать лет, и через минуту Алешковский, которого я не видел к тому моменту восемь лет. “Мы обнялись”, как написал бы Пушкин, — а у меня словно что-то сломалось в мозгу. Как же можно так, за одну минуту, найти людей, которых не видел столько лет и которые у тебя в сердце! Вот наш культурный шок! Потом опять же это стало просто бытом.

Я написал вдрызг, не знаю отчего — от горя или от счастья, потому что доходит прошлое, в его ужасе, не в момент переживания, не когда ты живешь, а когда тебе такую оплеуху дают за твое прошлое: ведь это же вполне естественно, нормально — видеть друга! Это было чудо...

Потом мы встречались то в Лондоне, то опять в Америке. Последняя наша встреча произошла ровно за месяц до его кончины в Нью-Йорке. Я там преподавал в уни-

верситете, Иосиф находился дома, в ожидании третьей операции, на которую ему трудно было решиться, потому что она была уже без гарантии. Я не очень хотел его беспокоить, но все-таки позвонил ему перед отлетом. Был такой разговор. “Как жаль, — сказал Иосиф, — я хотел тобой воспользоваться как оказией, но уже не успеваю...”

Когда я приехал в аэропорт, рейс отменили. Я вернулся в город, опять звоню ему: “Видишь, оказия вернулась”. Он отвечает: “Я бы позвал тебя к себе, но вот жена больна. Мне же все равно надо в магазин, давай я к тебе заеду”.

И он ко мне заехал. Передал книжку Голышеву. Поговорили. Говорили мы как старики, как больные. Об операциях, о всяких таких вещах. Иосиф говорил: “Знаешь, когда я лежал под ножом, то всегда себя успокаивал: это же тебе не голову режут”.

Зашла речь о том, откуда брать энергию письма. С возрастом это — проблема. Иосиф повторил тезис, который, кажется, когда-то высказал Ахматовой: “Выручит величие замысла”. И еще: “Тебе хорошо, ты можешь еще стихи писать”.

— Ну, какие стихи, — отвечаю, — когда я прозаик до мозга костей, сознательно пишу только любительские стихи.

— Так это ж ничего, нормально.

— Да, — говорю, — странно: я обнаружил, что во времени любительские стихи иногда выставляют едва ли не лучше многих профессиональных.

— Это не странно. В профессиональных стихах слишком все известно.

Духовно Иосиф был так здоров, свеж, будто никакого страха конца не было. У меня возникло ощущение, что все еще обойдется с операцией. Мы обнялись, как у Пушкина. Как всегда, он сказал: “Береги себя”. Я был уверен, что мы увидимся снова.

Встреча эта была 28 декабря. На следующий день я летел в Москву, над океаном вспомнил его фразу: “Тебе хорошо, ты можешь еще стихи писать”, — и написал стишок в одной строчке, посвятив его Иосифу:

Поэт — это завтрак Бога.

Сам я не мог понять эту строку...

Вопрос о том, будет или нет операция, как он мне сказал, должен был решиться 4 января. В общем, я позвонил ему на Рождество. Я знал, что на Рождество Иосиф всегда пишет стихотворение, это была его традиция. Я позвонил узнать.

— Написал к Рождеству?

— Написал.

— А что с операцией?

— Отложили решение до 12-го.

Я продолжаю: “Вот тебе стишок, только сам я его не понимаю... почему «завтрак Бога»?”. “Ну, это как раз понятно”, — сказал Иосиф.

В другой раз я ему не звонил, узнав о смерти.

Когда были сороковины, то есть 8 марта, сочинился стишок “Сорок дней”. Тут мог бы быть эпиграф из Бродского: “Век скоро кончится, но раньше кончусь я”.

Переплетаю век двадцатый,
Зиянье вырванных страниц
Десятилетия на заплаты
Уходят с черчерками лиц
Убитых, спившихся, опальных,
Не описавших ничего,
Уходят золотом сусальным
На оглавление его.

Век, как вдова, переживает
Мужей, любовников своих
И на детей переживает
Все, что изношено у них.

Под погребальной вуалеткой
С облезлой муфточкой страстей
В последнюю из пятилеток
Спешит похоронить детей.
Ты выглядишь, как настоящий
С керамикой и париком,
Но скоро ты сыграешь в ящик
Двухсотлетним стариком.

Париж, апрель 1996 г.